

Н. А. Морозов

Повести моей жизни

Том 3

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-94
ББК 63.3-8
М80

М80 **Морозов Н.А.**
Повести моей жизни: Том 3 / Н. А. Морозов – М.: Книга по Требованию, 2022. –
426 с.

ISBN 978-5-458-55633-0

ISBN 978-5-458-55633-0

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2022

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2022

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



Серия Книжный Ренессанс

www.samizday.ru/reprint

КНИГА ПЯТАЯ

В ТЮРЬМАХ И КРЕПОСТЯХ

Проходить все, и нет к нему возврата...

I. ТЕНИ МИНУВШЕГО ¹

*(Опыт психологической характеристики
Шлиссельбургской крепости)*

Пятьдесят лет прошло со времени возникновения «Народной воли», и скоро минет двадцать пять лет со времени освобождения из Шлиссельбургской крепости тех из ее деятелей, которые остались к тому времени в живых.

Отошла в вечность целая полоса русской революционной действительности.

Новые условия общественной жизни вызвали и новый подбор деятелей и новые приемы деятельности, а прежние деятели и прежние приемы борьбы ушли теперь в область истории.

Мне часто говорили с разных сторон:

— Закачивайте свои мемуары! Вы обязаны это сделать, потому что, кроме вас да еще двух-трех человек, уже никого не осталось от того времени. Особенно же дайте психологический очерк вашего одиночного заточения в Шлиссельбургской крепости.

Но для того, чтобы предаться воспоминаниям и написать хорошие мемуары, нужна тихая обстановка, без всяких отвлечений и помех, а мне не удавалось никогда создать себе такую обстановку

иначе, как тоже в одиночном заточении. В условиях свободной жизни мне хотелось всегда работать над такими предметами, которые имеют общее значение, смотреть вперед, а не назад.

В этом же и заключалась одна из причин того, что, находясь на свободе, я не написал почти ни единого листа своих воспоминаний.

Но, кроме того, была и еще одна существенная причина. Чтоб сделать правильную характеристику наших переживаний, особенно в заточении, необходимо было быть вполне правдивым и откровенным и, очерчивая светлые стороны нашей прошлой жизни, не затушевывать и темных. Только тогда рассказ и принимает характер яркой реальности и производит сильное впечатление. Но в период самодержавия, когда главный этап нашей борьбы — ниспровержение абсолютизма — не был еще достигнут, о полной откровенности перед живым еще врагом нечего было и думать, и потому я наотрез отказывался от всех предложений издателей дать им повествование о нашей жизни в шлиссельбургском заточении.

Да и вообще трудно это сделать.

Нужен талант Достоевского для яркого описания нашей тогдашней жизни, где общий психологический фон давало насильственное заточение вместе со здоровыми или полуждоровыми людьми нескольких безнадежно помешанных или со страшно расстроенными нервами товарищей.

Такого таланта я не чувствовал в себе.

Я читал воспоминания Фроленка о том, как он устранивал огородничество, как он с великими усилиями добывал семена и вырастил даже несколько яблонь; я читал воспоминания Новорусского, как он, добыв несколько свежих яиц, тайно вывел из них цыплят, и какое это произвело впечатление не только на товарищей, но и на жандармов, когда, отворив его камеру, чтобы вести его на прогулку, они вдруг увидели, что за ним бегут несколько новорожденных цыплят.

Все это было так. Все это было совершенно верно, и я сам мог бы рассказать, как сначала вместе с Лукашевичем, а потом и один, получив под видом гистологических занятий вместе с

микроскопом некоторое количество серной кислоты, селитры и других веществ, необходимых для обработки препаратов, устроил посредством их в камере для занятий с микроскопом целую химическую лабораторийку, где обучал Новорусского, Панкратова, Василия Иванова и нескольких других товарищей общей, аналитической и органической химии вплоть до приготовления, — конечно, в гомеопатических дозах, — даже динамита, тогда как администрация все время думала, что я обучаю товарищей чистой гистологии и микроскопической технике.

Но разве это был бы действительный очерк нашей жизни? Разве мой читатель не получил бы из него о ней самое извращенное представление?

Разве не показалось бы ему после таких описаний наше пребывание в Шлиссельбургской крепости тихой работой в каком-то культурном уголке в царствование Александра III и первых лет Николая II, тогда как на деле мы находились в самой глубине самодержавного пекла?

Читая такого рода утешительные воспоминания, как у Новорусского и Фроленка, мне часто страстно хотелось сделать к ним корректив, который ярко показал бы, что все это была лишь серебряная парча на ряде гробов, в которых заживо погребались, как в катакомбах, предварительно подвергнутые страшным моральным и даже физическим пыткам и специально избранные из многих, три-четыре десятка очень хороших по натуре людей.

Дело в том, что наши враги, уничтожив большую часть из нас, первых народовольцев, медленной голодной смертью, со всеми сопровождающими ее страданиями — мучительным голодом и цынгой, от которой ноги постепенно пухли, как бревна, и мы умирали один за другим, когда опухоль переходила на живот, — применили к уцелевшим другое средство — убивать и искалечивать вместо тела их душу, и в нескольких случаях достигли этого. Посадить навсегда живым и одиноким в гробницу человека, у которого все жизненные интересы лишь были в общественной и революционной деятельности, то же самое, как не давать ему ни пить, ни есть, и он естественно увянет. Его мысль обращается,

прежде всего, на воспоминания о прошлом или к мечтам о победе и вертится, как в заколдованном кругу, пока через несколько лет все перемешается в его голове, и он впадет в тихое или в буйное помешательство. Спасаются в таких случаях только те, у кого, как у Новорусского, Лукашевича, Яновича, Веры Фигнер, Панкратова и большинства других моих товарищей по Шлиссельбургу, были, кроме революционных, научные интересы и значительный запас предварительных разносторонних, лучше всего, естественно-научных знаний, которые можно обрабатывать даже без книг, улетая мыслью из стен своей гробницы в далекие мировые пространства или в тайники стихийной и органической природы, или в глубину веков, а когда, наконец, дали книги, хотя бы даже только религиозного содержания, предаваясь их осмысленному изучению. Так поступал и я сам, когда мне в Алексеевском равелине дали для чтения Библию. Увидев, что тут много интересного материала для естествоиспытателя, я согласился даже на прием тюремного священника в качестве колеблющегося мыслителя, чтобы получать через его посредство и другие религиозно-мистические книги, которые и послужили первым материалом для моего «Откровения в грозе и буре», написанного в самом Шлиссельбурге, и материалом для выходящего только теперь моего историко-астрономического исследования «Христос».

Правда, что сначала мне очень не хотелось выставлять себя перед священником, хотя бы даже и агностиком. Еще в мое первое пребывание по Большому процессу в Доме предварительного заключения, когда мне был только 21 год и мне предложил пойти в находящуюся там домашнюю церковь, я с гордостью отказался. Но когда пошедший туда сосед сказал мне, что в этой церкви запирают одиночек в крошечных чуланчиках с малейкими окошечками перед лицом, чтобы смотреть во внутренность церкви, и что через эти окошечки можно видеть наших товарищей-женщин и даже можно перестукиваться с ними, если они попадут в соседний чуланчик, я тотчас отбросил свою юношескую шепетильность.

Припоминая, как я когда-то восхищался Пальгревом, когда он проник в запретную для всех не-мусульман Мекку, разыгры-

вая роль мусульманина-богомольца, и прикладывался там к «черному камню, брошенному архангелом Гавриилом с неба», для того, чтобы потом все это описать, я заключил, что и с нашей стороны не более греха приложиться ко кресту и даже устраивать мимикрию исповедания и причащения, хотя бы только для того, чтобы повидаться с товарищем по заточению, раз мы преследуемся не за антирелигиозную деятельность и не сектанты, воображающие, что в чаше с причастием сидит чорт.

Обдумав дело ближе, я пришел даже к заключению, что всякое лукавство допустимо и даже обязательно для революционера-заговорщика, за исключением одного: просить себе у врага помилования.

Так и я вел себя с тех пор при первом и при втором моем пребывании в Доме предварительного заключения по Большому процессу.

Потом, при третьем заточении, уже на всю жизнь, когда меня вместе с несколькими товарищами по Народной воле посадили в абсолютное одиночество, как в могилы, в ужасный Алексеевский рavelин Петропавловской крепости, мы тоже согласились на прием священника, как только нам это предложили, но тут уже была другая причина. При романтическом настроении наших голов, как и всегда бывает у революционеров-заговорщиков, нам представлялось, что под видом священника к нам может проникнуть наш товарищ со свободы с целью освободить нас. Ведь если Фроленко, сидевший тут же с нами, проник под видом тюремщика в киевскую тюрьму с целью освободить своих товарищей Дейча, Бохановского и Стефановича и успешно выполнил это, то почему бы не явиться кому-нибудь и к нам под видом исповедника и, оставшись наедине, не выведать подробностей нашей жизни и не предупредить, что мы должны делать при попытке нашего освобождения?

Разве не приходила ко мне на свидание в Дом предварительного заключения Вера Фигнер под видом моей сестры, в то время, как ее самые жандармы могли посадить в этот самый дом? Разве и с другими не было таких же романтических случаев? Отказаться от разговора наедине с посторонним человеком при

полной нашей изоляции от внешнего мира казалось прямо нелепым. Правда, священник оказался самым обычным клерикалом, и — кто его знает, — может быть, подосланным шпионом, но для меня лично открылась тут новая перспектива. Мне ничего не оставалось, как изобразить себя перед ним человеком, бывшим в детстве очень религиозным (это была совершенная правда), но потом благодаря несогласию священного писания с естествознанием, впавшим в скептицизм, может быть, от недостаточного знакомства с историей религий, так что я был бы очень благодарен, если бы мне позволили читать хоть религиозные книги, тогда как нам не дают абсолютно никаких, кроме недавно выданной Библии, в которой я нашел очень много нового и интересного для меня.

И вот нам всем стали давать и «Жития святых», и «Творенья святых отцов», и другие историко-религиозные книги, и я получил возможность накопить за неимением ничего лучшего запас историко-религиозных знаний.

Потом, когда (уже после перевода в Шлиссельбург, да и то не сразу) получилась возможность заниматься естественными и математическими науками и религиозные книги стали более не нужны, я перестал приглашать и священника, подобно тому как и Пальгрев снял свое платье мусульманского паломника после ухода из Мекки.

Отсюда видно, что если я не сошел с ума во время своего долгого одиночного заточения, то причиной этого были мои разносторонние научные интересы, благодаря которым я часто говорил про себя своим мучителям: если вы не дадите мне возможности заниматься тем, чем я хочу, то я буду заниматься тем, чем вы дадите мне возможность, и если от этого вам будет только вред, то и вините лишь самих себя.

В аналогичном положении было в Шлиссельбургской крепости и большинство других товарищей, имевших, кроме революционных, научные интересы, и я уже указывал специально на Лукашевича, Яновича, Веру Фигнер, Новорусского. Но вы представьте себе положение тех, у кого не было в жизни никаких других целей, кроме революционных. Попав в одиночное зато-

чение, они догорали тут, как зажженные свечи, как умерли Юрий Богданович, Варынский, Буцевич; другие кончали жизнь самоубийством, как Тихонович, Софья Гинсбург или Грачевский, сжегший себя живым, облив свою койку керосином из лампы и бросившись на нее после того, как зажег этот костер фитилем. Третьи предпочли быть расстрелянными, как Мышкин, бросивший в смотрителя тарелку, потому что не имел возможности подойти к нему для удара, и как больной и уже полупомешанный Минаков, ударивший доктора (который подошел к нему для выслушивания легких) исключительно для того, чтобы его расстреляли. И оба были тотчас же казнены.

А из тех, которые не умерли таким образом, многие сошли с ума, впадали в буйное помешательство, кричали дикими головами, били кулаками в свои железные двери, выходящие в один и тот же широкий тюремный коридор, с каждой стороны по 20 камер в два этажа, причем верхний этаж был отделен от нижнего только узким балкончиком.

Всякий их крик и вой разносился гулом по всем 40 камерам, каждый их удар кулаком в железную дверь вызывал резонанс во всех остальных и отзывался невыносимой болью в сердцах остальных заключенных.

И вот, если бы какая-нибудь девушка-энтузиастка, представлявшая Шлиссельбургскую крепость только по некоторым вышедшим описаниям, попала тогда в нее, то с ней случилось бы следующее. Пройдя сзади тюрьмы мимо тех висячих садов Семпранды, которые устроил под бастионом и так хорошо представил ей мой дорогой товарищ Фроленко, она вошла бы в наш гулкий коридор и в нем прошла бы мимо тех волшебных мастерских, которые так привлекательно изобразил другой мой дорогой, но теперь уже умерший, товарищ Новорусский в своей книге «Тюремные Робинзоны». Затем она прошла бы и мимо камеры с лабораторией, где под видом изучения гистологии я тайно обучал моих товарищей химии, после того как в мастерских-камерах нам разрешили работать вдвоем. Конечно, ее привели бы к нам уже не в качестве зрительницы (таких у нас не было вплоть до посещения нас митрополитом Антонием и княжией Дондуковой-

Корсаковой незадолго до упразднения старой Шлиссельбургской крепости, куда сажали и откуда выпускали не иначе, как за личной подписью самого императора), а в качестве новой заточенной, и тут ее ожидали бы такие первые приветствия.

Около 9—10 часов утра она с ужасом услышала бы очередной жутко безумный рев сошедшего с ума Щедрина, воображавшего себя то медведем, то другим диким зверем и кричавшего всевозможными звериными голосами (хотя в перерывы он считал себя императором всероссийским), что продолжалось нередко с полчаса и иногда сопровождалось битьем кулаками в гулкую дверь. Затем наступила бы гробовая тишина, после которой через несколько часов она услышала бы очередное жутко безумное пенье сошедшего с ума Конашевнча-Сагайдачного, начинающееся словами:

Красавица, доверься мне,
Я научу тебя свободной быть!

А после этого обязательного вступления последовали бы еще два-три куплета эротического содержания, и песня эта, собственного сочинения безумного певца, повторялась бы все снова и снова таким гулким, убеждающим кого-то голосом, что чувствовалось, как будто эта красавица стоит лично перед ним и отвечает на его пенье. Мороз пробегал по коже, и волосы шевелились на голове от этого пенья даже и у того из нас, кто слышал его каждый день в продолжение многих лет.

И она тоже стала бы слышать эти звериные крики и пенье каждый день с прибавкой по временам буйных ударов в дверь и криков изнервничавшегося Попова, а одно время еще и третьего, сошедшего окончательно с ума, но более спокойного, чем Щедрин и Конашевич,— Похитонова.

И такую девушку-энтузиастку к нам действительно привели. Это была Софья Гнисбург. Правда, ее посадили с обычной целью выдержать первые месяцы в абсолютном одиночестве не в нашу, а в маленькую, так называемую старую тюрьму, служившую карцером, но туда же временно увели слишком разбушевавшегося у нас Щедрина, и он, по обычаю, ревел там медведем и другими звериными голосами. Его безумные крики и битье кулаками в